

ПЕРЕПЕЧАТКИ

Антонен Арто

ЭЛСИЗА И АБЕЛИР
СВЕТ-АБЕЛИР
УЧЕЛЛО-ВОЛОСАТИК

Пер. с франц. А. Скард-Лапидуса

Первая публикация: "ПРЕДЛОГ" № 9, 1986.

ЭЛОИЗА И АБЕЛЯР

Жизнь перед ^{нечт} стала крохотной. Гнили целые области мозга. Явление известное, но это не делало его простым. Абеляр не выдавал свое состояние за открытие, но, в конце концов, написал :

Дорогой друг,

Я исполин. Ничего тут не поделаешь, коли я - это вершина, где самые высокие мачты берут грудь под видом парусов, а женщины в это время чувствуют, что их вульвы твердеют, как галька. Со своей стороны, я не могу воздержаться и чувствую, как под платьями перекатываются и покачиваются все эти яйца, следуя случайностям времени и рассудка. Жизнь мельтешит и толкает малышку сквозь мостовую грудей. Каждую минуту меняется лик мира. Вокруг пальцев наматываются души с их слюянными кракелюрами, а между кракелюром проходит Абеляр, ибо надо всем - эрозия рассудка.

Все отдушины мертвого самца, следуя случайностям зубов в арматуре их прорезания, либо девственного, либо обложенного сальными ломтиками жажды и затканных отбросами, как арматура рассудка Абеляра.

Но здесь Абеляр замолкает. На ходу в нем теперь лишь пищевод. Не, безусловно, аппетит вертикального протока с его изголодавшейся страстью, но прекрасное прямое дерево из серебра с разветвлениями сделанных для воздуха веночек, с листвой вокруг птиц. Вкратце - строгое растительная, скомканная жизнь, в которой ночи идут своим механическим шагом, а мысли - как зарифленный бомбрасель. Переход тел.

Мумифицированный рассудок срывается о цепи. Поднимает голову высокозрегированная жизнь. Не станет ли это, наконец, большой оттепелью? Птица, прорвет ли она горлышко языков, груди не разветвляются ли, и не займет ли свое место маленький ротик? Не пронзит ли окостеневший гранит руки семенной дерево? Да, у меня в руке роза, вот почему мой язык вращается просто так. Ох, ох, ох! как легка моя мысль. Мой рассудок тонок как рука.

Но дело в том, что у Элоизы есть еще и ноги. Прекрасней всего, что у нее есть, ноги. А еще есть у нее эта штука наподобие морского секстанта, вокруг которой вращается и выбирирует все волшебство, эта штука, как лежачий меч.

Но превыше всего у Элоизы сердце. Прекрасное прямое сердце,

все в ветвях, напрягшееся, застывшее, шершавое, оплетенное мной, обильное наслаждение, каталепсия моей радости !

У нее есть руки, которые охватывают книги своими медовыми хрящами. У нее есть груди из сырого мяса, такие маленькие, чей прижим сводит с ума ; у нее есть груди в лабиринте нити. У нее есть мысль обо мне, вкрадчивая, изворотливая мысль, которая будто сматывается с кокона. У нее есть душа.

В ее мысли я — бегущая игла, и ее душа получает иглу и ~~зимает ее~~, ~~зимно в моей игре лучше~~, и ее душа зблучает иглу и принимает ее, а мне в моей игре лучше, чем всем остальным в постели, ибо у себя в постели я разматываю мысль с иголкой в изгибах ее спящего кокона.

Ведь именно к ней я возвращаюсь по нити этой любви без пределов, этой повсеместно общеизвестной любви. И она подталкивает мне в руки craterы, толкает туда лабиринты грудей, толкает взрывчатые страсти, которые моя жизнь отыграла у моего сна.

Но в каких трансах, в каких судорогах, в каких последовательных скольжениях придет он к идее наслаждения духа. В самом деле, он , Абеляр, в этот миг наслаждается в духе. Он вовсю так наслаждается. Он не думает больше ни о правом, ни о левом. Он там. Все, что происходит в нем , — для него. И в нем в этот миг кое-что происходит. Кое-что, что избавляет его от поисков самого себя . Это очень важный пункт. Ему не нужно больше стабилизировать свои атомы. Они веселятся сами по себе, они насыщаются на одну точку. Весь его дух свелся к последовательности подъемов и спусков, но всегда с некоторым спуском в середине. Есть у него кое-что:

Его мысли — это прекрасные листва, ровные поверхности, ряды ядер, скопления прикосновений, между которыми без усилий проскальзывает его разум, он на ходу. Ибо в этом разум: изгибаться. Уже не ставится вопрос, быть тонким или худощавым и соединяться издалека, обнимать, отвергать, расходиться.

Он проскальзывает между своими состояниями.

Он живет. И в нем что-то крутится, как зерно в веялке.

Вопрос любви стал прост.

Какая разница, плакс он или минус, коли он может двигаться, скользить, изменяться, ориентироваться и выживать.

Он вновь нашел любовную игру.

Но сколько книг между мыслью и грезой !

Сколько утрат, И что же все это время поделяет его сердце?
Удивительно, что у него осталась эта штука, сердце.

Он вполне здесь. Он как живая медаль, как окостеневший металлический куст.

Вот же он, узловой пункт.

Ну а у Элоизы есть платье, она прекрасна лицом и внутренне.

Тогда он ощущает возбуждение корней, массивное земляное возбуждение, а его нога на глыбе вращающейся земли ощущает массу небесного свода.

И он, Абеляр, кричит, мертвяя, чувствуя, как трещит и стекленеет его скелет, Абеляр, на дрожащей остроте и пределе усилий:

"Здесь продают Бога, мне теперь равнина полов, гальку плоти. Никакого прощения, мне не нужно прощения. Ваш Бог всего лишь холодный свинец, дерньмо членов, лупанарий глаз, уд живота, молокозавод неба!"

Тут небесный молокозавод возбуждается. Его тошнит.

Его плоть ворочает в нем свой полный чешуек ил, он ощущает жесткие волоски, перегороженный живот, он ощущает, как жидким становится его член. Встает узкая иглами ночь, и вот вдруг одним взмахом секатора они оттяпывают его мужественность.

А внизу Элоиза свертывает свое платье и остается совсем голой. Череп ее бел, молочен, груди косят, хилы ее ноги, зубы шурчат, как бумага. Она глупа. Так вот она, супруга Абеляра - кастрата.

XII - 1925

СВЕТ - АБЕЛЯР

На стекле его рассудка ропущая арматура неба набрасывает все те же знаки влюблённости, все те же сердечные сообщения, которые, может быть, смогли бы спасти его от участи быть мужчиной, если бы он согласился спастись от любви.

Нужно, чтобы он уступил. Он не удержится. Он уступает. Его давит это мелодичное кипение. Уд его бьется: мучительный вихрь бормочет, шум его выше, чем небо. Поток катит трупы женщин. Кто же это? Офелия, Беатриче, Лаура? Нет, чернила, нет, ветер, нет,

камыши, берега, отмели, пена, хлопья. Уже без шлюза. Из своего желания сделал себе шлюз Абеляр. В месте слияния жестокого и мелодического толчка. Это Элоиза, катящаяся, уносящаяся, к нему, — И ОНА ЕГО ТАК ХОЧЕТ.

Вот на небе рука Эразма сеет горчичные зерна безумия. Ах! забавное снятие. Своим движением Большая Медведица закрепляет в небесах время, закрепляет небеса во Времени — все с той извращенной стороны мира, где небо предлагает свою лицевую сторону. Необозримая переобезличка.

Именно из-за того, что у неба есть лицо, у Абеляра есть сердце, в котором столько звезд самостоятельно пускают ростки и отращивают хвости. На грани метафизики эта любовь, замощенная плотью, пламенеющая камнями, рожденная в небе после стольких оборотов горчицы безумия.

Но Абеляр гонит небеса, как синих мух. Странное бегство. Где укрыться? Господи! быстро, игольное ушко. Крохотнейшее игольное ушко, через которое Абеляр не сможет пробраться за нами на поиски.

До странности хорошо. Ибо теперь всегда хорошо. С сегодняшнего дня Абеляр больше не целомудрен. Оборвалась тонкая цепь книг. Он отрекается от целомудренного совокупления, дозволенного Богом.

Как сладостно совокупление! Даже человеческое, даже применившее женское тело, какая серафическая и близкая похоть! Небо, которое можно достать с земли, и менее прекрасное, чем земля. Рай у него под ногтями.

Но ведь не стоит пространства одной женской ляжки зов звездного освещения, пусть даже и поднятой на самы верх башни. Не так ли, священник Абеляр, для которого любовь так чиста.

Пусть чисто совокупление, пусть чист грех. Так чист. Какие завязи, как сладостны эти цветы изнемогающему полу, как прожорливы головы наслаждения, как удовольствие рассеивает свои маковые зерна по самому пределу наслаждения. Свои маковинки звуков, маковинки дня и музыки, во весь дух, как гипнотическое отрывание птиц. На лезвии заостренного сна удовольствие производит резкую и таинственную музыку. О этот сон, в котором любовь соглашается раскрыть глаза. Да, Элоиза, это в тебе двигаюсь я со всей своей философией, в тебе я отбрасываю ризы, и к месту даю я тебе людей, чей рассудок дрожит и отсвечивает в тебе. Пусть Дух любуется собой, ибо Женщина наконец любуется Абеляром. Дай же хлынуть

пене из глубины лучезарных перегородок. Дэрэвья. Растительность Аттилы.

Он ее имеет. Он обладает ею. Она его подавляет. И каждая страница открывает свой смысл и движется вперед. Эта книга, где переворачиваешь страницы мозгов.

Абеляр отсек себе руки. Найдется ли отныне симфония, равная этому жестокому поцелую бумаги. Элоиза пожирает огонь. Открывает дверь. Поднимается по лестнице. Звонит. Волнуются расплещенные нежные груди. Кожа на них много светлее. Тело белое, но тусклое, ибо никакой женский живот не чист. Кожа цвета плесени, живот пахнет хорошо, но до чего убог. И столько поколений грезят о нем. Он здесь. Абеляр как мужчина держит его. Выдающийся живот. Все так и не так. Пожирает солому, огонь. Поцелуй открывает пещеры, попав в которые, умирает море. Вот он, тот спазм, в котором пересекается небо, к которому прибой прибивает духовную коалицию, и ОН ПРОИСХОДИТ ИЗ МЕНЯ. Ах! как я чувствую теперь лишь свои внутренности, безо всякого духовного моста над собой. Без стольких механических чувств, стольких добавочных секретов. Она и я. Мы вполне тут. Я держу ее. Я обладаю ей. Последний гнет сдерживает меня, замораживает меня. У себя в паху я чувствую, как меня останавливает Церковь, жалуется, парализует ли она меня? Не убраться ли мне восвояси? Нет, нет, я раздвигая последние стены. Святой Франциск Ассизский, охраняющий мой уд, подвинься. Святая Бригитта, открай мно зубы. Святой Августин, распусти мой пояс. Святая Катерина Сиенская, услыши Бога. Кончено, вполне конечно, я больше не девственник. Небесная стена перевернута. Я обуян вселенным безумием. В своем наслаждении я восхожу на самую высокую вершину эфира.

Но вот святая Элоиза услышала его. Позже, бесконечно позже она слышит его и говорит ему. Как бы ночь наполняет его зубы. Входит, маучка, в пещеры его черепа. Костлявой муравьиной рукой она приоткрывает крышку своего склепа. Будто внимашь во сне стасой ведьме. Она дрожит, но он дрожит намного сильнее, чем она. Бедняга! Бедный Антонен Арто! Это, конечно, он импотент, карабкается по звездам, пытается сопоставить свою слабость с основными принципами и элементами, из каждой утонченной или уплотненной грани природы силится составить мысль, которая держалась бы, образ, который держался бы стоймия. Если бы он смог создать столько элементов, представить по крайней мере метафизику краха, дебет был бы крушением.

Элоиза сожалеет, что на месте живота у нее не было стены

наподобие той, о которую она опиралась, когда Абеляр теснил ее бесстыдным жалом. Для Арто утрата является началом той смерти, что он желает. Но до чего же прекрасен образ кастрата!

XII - 1927

УЧЕЛЛО-ВОЛОСАТИК

Учелло, дружок, моя химера, ты жил с этим мифом волос. Тень огромной лунообразной руки, в которую ты впечатываешь химеры своего мозга, никогда не доберется до растительности твоего уха, что кишит и поворачивает налево под всеми ветрами твоего сердца. Налево волосы, Учелло, налево сны, налево ногти, налево сердце. Именно налево открываются тени нервов, как и человеческих отверстий. Положив голову на тот самый стол, куда опрокинуто все человечество, что еще ты вилишь, кроме огромной тени волоса. Одного волоса как двух лесов, как трех ногтей, как выгона ресниц, как граблей в травах неба. Мир придушенный, и подвешенный, и вечно мерцающий на равнинах плоского стола, на который ты склонил свою тяжелую голову. А рядом с собой, когда ты опрашивашь лица, что ты вилишь, кроме круговорота ветвей, решетки вен, крохотного следа морщинки, разводов моря волос. Все вранательно, все мерцательно, и чего стоит глаз с выпиленными ресницами. Омой, омой ресницы, Учелло, омой линии, омой прожащий след волос и морщин на тех повешенных лицах мертвцов, что разглядывают тебя, как яйца, и у тебя в чудовищной лапони, полной желчного лунного освещения, вот еще августейший след твоих волос, что всыпывают тонкими линиями, как сны в твоем мозгу утопленника. От волоска к волоску, сколько секретов и сколько поверхностей. Но два волоса, один рядом с другим, Учелло. Идеальная линия невыразимо тонких волос, дважды повторенная. Бывают морщины, обрамляющие все лицо и продолжающиеся до самой шеи, но и под волосами тоже есть морщины, Учелло. И ты тоже можешь обойти все это яйцо, что подвешено между камнями и звездами, которое лишь одно управляет лвойной живостью глаз.

Живописуя на хорозу приложенном холсте двух своих друзей и себя самого, ты оставил на нем как бы тень странного пушка, и здесь я

распознаю твои сожаления и боль, Паоло Учелло, недоозаренный. Морщины, Паоло Учелло, это силки, но волосы – это языки. На одной из твоих картин, Паоло Учелло, я видел свет языка в фосфористой тени зубов. Именно языком ты снабжаешь неодутые холсты живым выражением. И именно поэтому я вижу, Учелло, запеленутый в свою бороду, что ты меня наперед понял и описал. Блажен же буль, имевший каменистую земную озабоченность глубиной. В этой иле ты чил, как в живом яле. И вечно обращаешься ты в кругах этой илеи, и я ощупью гонюсь за тобой, как нитью пользуясь светом языка, зовущего меня со дна чудесного рта. Земная и каменистая озабоченность глубиной, я, которому не хватает земли на всех уровнях. Препполагал ли ты и в самом деле мое схождение в сей низкий мир с открытым ртом и вечно изумленным разумом. Предчувствовал ли эти крики по всем направлениям мира и языка, как иступленно размостанную нить. Долготерпение морщин – вот что спасло тебя от преждевременной смерти. Ибо, я знаю, ты родился со столь же пустым духом, как и я, но этот дух, ты мог его фиксировать на еще меньшем, чем след и исток ресницы. На расстоянии волоска балансировал ты над страшной бездной, от которой ты, однако, навсегда отделен.

Но я благословляю и, Учелло, малыш, пташка, истерзанный огонек, я благословляю твое столь прекрасно возрученное молчание. Кроме тех линий, что ты вытолкнул из головы, как листву посланий, от тебя осталось лишь молчание да секрет твоей застегнутой рясы. Лва или три знака во внешности, кто же собирается пережить большие, чем эти три знака, и о чем вголь укрывавших нас часов надумаем просить, кроме как о молчании им предшествующем или за ним следующем. Я чувствую, как все камни мира и фосфор вызываемой моим продвижением протяженности вершат сквозь меня свой путь. В выпасах моего мозга они образуют слова из одного черного слога. Ты, Учелло, ты учишься быть лишь линией и верхним этажом тайны.